

«ШТЕРН», ГАМБУРГ.

МОИ воспоминания не рассказ о событиях, о которых я никогда не говорил публике, — они для меня нечто вроде объявления независимости. Наконец я чувствую себя действительно свободным и не беспокоюсь о том, что про меня подумают люди. В семьдесят лет я к тому же получаю от жизни больше удовольствия, чем когда-либо прежде. Теперь я наконец могу быть ребенком, которым мне нельзя было быть в прошлом.

Недавно я смотрел фильм Кевина Костнера «Танцы с волками» и где-то посередине заплакал. Сам не знаю почему. Ответ дал кадр с индейским мальчиком — для меня это было возвращение домой. Неожиданно мне стало ясно, что в последние годы я вновь открыл часть самого себя, когда-то чистого, порядочного, прямо душевного. Каким перестал быть еще в детстве.

«Доди» и «Бови»

Я РОДИЛСЯ 3 апреля 1924 года в Омахе, штат Небраска, за час до полуночи. Моей матери, Дороти Пенебейкер Брандо, было тогда 27 лет, отцу, Марлону Брандо-старшему, — 29 лет. Я появился на свет в семье, в которой уже росли две дочери, мои сестры — Джесселин и Френсис.

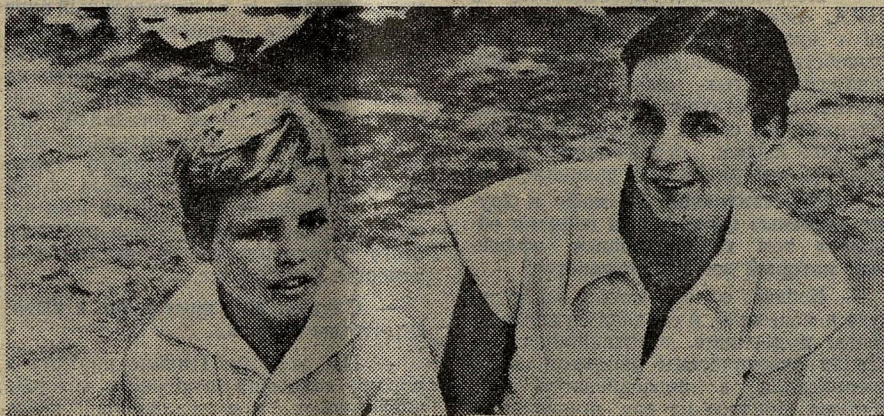
Мы обитали в большом доме с крышей из деревянной драки, который стоял на широкой улице, где росли огромные вязы. Здесь мы жили, пока

живых, — страшноватая для двенадцатилетнего мальчишки мысль.

Два года спустя мать решила помириться с отцом, и мы переехали в Линбертвилл, к северу от Чикаго.

Часто нам, детям, а иногда и отцу, приходилось разыскивать мать. Четырнадцатилетним подростком я, бывало, целыми вечерами бродил по чикагским пивным, открывая одну дверь за другой, заглядывая в эти мрачные заведения: не сидит ли она там где-нибудь на одной из табуреток.

Однажды отец доставил ее домой и повел по лестнице вверх. Я услышал, как она упала, а потом звуки ударов и тут же помчался туда. Мать в слезах лежала на постели. Отец угрожающе возвышался над ней. Я почувствовал, как во мне поднимается неодолимое бешенство, и, приблизив



Обманчивая идиллия: Марлон в детстве с матерью.

Марлон Брандо:

«Моя грешная жизнь»

мне не исполнилось семь лет. Об этом времени у меня почти не сохранилось плохих воспоминаний, потому что поначалу я еще не замечал, что мать пьет, а отец, тоже алкоголик, довольно часто исчезает, отправляясь к проституткам.

Об отце в моей памяти осталось то, что он едва обращал на меня внимание. Хотя я носил то же имя, что и он, мне никогда не удавалось сделать что-нибудь так, чтобы он был доволен, или хотя бы пробудить его интерес. Он часто повторял, что из меня никогда не выйдет никакого толку.

«Бови», как называли отца, был молчалив, задумчив и гневлив — тиран, который любил всеми командовать. Может быть, именно поэтому я всю жизнь отвергал любые авторитеты. Ребенком он был покинут своей матерью, и его предавали от одной тетки к другой. Вероятно, поэтому он от всей души ненавидел женщин.

«Доди», как мы называли мать, хрупкая, маленькая женщина, придавала большое значение образованию и любила музыку. Я и сейчас не понимаю, что сделало ее алкоголичкой. Она то и дело тайком прикладывалась к бутылке из-под «эмперины» — говорила, что это лекарство. В действительности же это был джин.

Самые ранние и приятные детские воспоминания связаны с моей няней Эрми. Целыми днями мы играли друг с другом, а ночью спали в одной кровати. Она спала обнаженной, так же, как и я, и сон у нее был довольно крепкий. Когда лунный свет окутывал ее тело дымок, я ее рассматривал, гладил груди, ложился на нее. Она принадлежала мне одному. Когда мне исполнилось семь лет, Эрми вышла замуж. Мне сказала только, что отправляется в путешествие и скоро вернется. Но снова я увидел ее лишь через двадцать лет.

Ночью, когда я понял, что Эрми больше никогда не вернется, мне стало ясно: она так же покинула меня, как и мать, для которой бутылка была важнее, чем я.

Затем родители разошлись. Мать с детьми (и я в том числе) переехала к бабушке в Калифорнию. Некоторое время я тогда представлял себе, что все важные для меня в жизни люди в действительности уже мертвы и только делают вид, что еще живы. Часами я в поту лежал в постели, уставившись в потолок, убежденный, что я единственный, кто остался в

лицо вплотную к его носу, сказал: «Если ты ее еще раз ударишь, я тебя убью». Он посмотрел на меня и, ничего не сказав, вышел из спальни.

Тайна безязыкого колокола

В 16 ЛЕТ отец отправил меня учиться в кадетскую школу, которую когда-то посещал и сам. Он полагал, что дисциплина принесет мне пользу.

Военное училище «Штак» в Фэр-бо, штат Миннесота, со своими зданиями в готическом стиле, сложными из известняка, с высокой башней, сплошь увитой разросшимся плющом, излучало спокойствие английского сельского интерната.

Башня стояла возле плаца, на котором я вскоре стал маршировать по два-три раза в день. Побудка — в половине седьмого, затем мы надраивали ботинки и раскладывали форменную одежду для утренней поверки. После гимнастики мы строились, затем отрабатывали первые упражнения и завтракали. Потом пять или шесть часов учебных занятий.

В начале декабря 1941 года начальник школы сообщил, что Америка объявила Японии войну. Потом он сказал мне, что я сижу на том же самом стуле, что и мой отец, когда было объявлено о вступлении США в первую мировую войну. Поскольку отец стал офицером, он ожидает от меня, что и я сделаю такую же карьеру. «Марлон, — сказал начальник, — если вы наконец перестанете изображать здесь из себя самого умного, то можете стать хорошим офицером». Но я бы не смог долгое время ходить ни в какой форме.

И поныне в истории «Штака» существует неразгаданная загадка, ответственность за которую лежит на мне. Колокол на башне звонил каждые 15 минут — звал на занятия, на обед, на сон, на поверку. Это был голос авторитета, и я его ненавидел. Кроме того, я очень чувствителен к шуму.

Однажды ночью я взобрался на эту башню, чтобы ликвидировать источник шума. Быстро разобравшись в том, что колокол можно заставить замолчать, только если снять язык, а он весил около 70 килограммов. Итак, я подождал очередного четвертьчасово-

го удара (при этом чуть не оглох) — и отсоединил язык.

Я стащил тяжелую шутовину вниз по лестнице и почувствовал себя замечательно. Парой сотен метров дальше я ее закопал. Настало следующее утро. На территории школы царил дивная тишина. Преподаватели собрались у подножия башни, поглядывая вверх, чесали в затылках. Скоро выяснилось, что замену достать невозможно, потому что в войну весь металл шел на пушки и самолеты. Вместо колокола один из кадетов должен был теперь то и дело давать сигнал, играя на трубе. Язык наверняка и сегодня еще лежит на том же самом месте. Его легко обнаружить с помощью металлоискателя.

Весной 1943 года я поехал в Нью-Йорк. Меня исключили из училища



Марлон Брандо в Риме пытается вырваться из объятий своих итальянских поклонников.

за «самовольную отлучку», и я радовался тому, что еду к своим сестрам, которые изучали там театральное искусство. Я тоже решил попытаться счастья как актер. Такси доставило меня с Пенсильвания-стейшн к ним домой — в квартал художников Гринвич-виллидж. На голове у меня была мягкая ярко-красная шляпа, которую я считал тогда страшно шикарной.

Как-то мы повеселились на вечеринке в Бруклине целую ночь. Утром я вышел на улицу, когда появились только первые машины. Постепенно город заполнялся людьми с портфелями в руках — они торопились в свои конторы. «Боже мой, — подумал я, — вот был бы ужас, если бы и мне надо было каждый день вот так же рано вставать и идти на работу».

По соседству со мной жила Эстрелита Роса Мария Консуэло Крус. Я называл ее просто «Люк». Она была родом из Колумбии, лет на десять — пятнадцать старше меня, имела обличье оливоливого цвет лица и обладала незаурядными талантами художника и повара. Ее муж служил в морской пехоте. Однажды вечером она пригласила меня к себе на ужин у камина при свечах. Случилось то, что и должно было случиться, — я потерял невинность.

Люк была как-то по-животному страстной. Она не имела обыкновенных носов, трусики. Часто, бродя вместе по улицам Нью-Йорка, мы то-ропливо прятались где-нибудь в пере-

улке и там занимались любовью. Когда ее муж вернулся домой, он узнал об измене Люк и развелся с ней. А наша с ней дружба длилась еще годы.

Один год я посещал «Новую школу социальных исследований», но год этот был особенный. Не только высшая школа, но и весь Нью-Йорк стал пристанищем для евреев из Европы, которые бежали от Гитлера. Они своеобразно обогатили духовную жизнь города. У этих евреев я многому, очень многому научился. Они были не только моими учителями, но и работодателями. Познакомили меня с книгами и идеями, о существовании которых я до тех пор ничего не знал. Я проводил со своими еврейскими друзьями ночи напролет — задавал вопросы, спорил, при этом обнаруживая, как мало я знаю. Скоро я стал читать таких философов, как Кант, Руссо, Ницше, Локк; таких писателей, как Толстой, Фолкнер, Достоевский. Вкус к культуре, который мне тогда привили, я не терял всю свою жизнь.

Театральной мастерской руководил тогда Эрвин Пискатор — человек, который пользовался в немецком театре большим уважением. Но для меня подлинной душой школы оказалась Стелла Адлер. Ей шел 41-й год, она была высокого роста и очень красивая, с синими глазами и поразительно светлыми волосами. На сцене играла великолепно, но дела у нее шли, как у большинства еврейских актеров того времени. Распространенный в ту пору скрытый антисемитизм создавал ей немало трудностей. Продюсеры не нанимали актеров, которые выглядели как-то «по-еврейски», и поэтому у Стеллы никогда не было шансов стать «звездой».

Стелла всегда утверждала, что никто не может научить человека актерской игре, но сама она это делать умела. У нее был дар показывать ученикам, какие они на самом деле и как могли бы вкладывать в роль свои эмоции и высвобождать свою скрытую чувствительность. Стелла не только говорила, что ты делаешь что-то неправильно, но и объясняла почему.

Стелла была замужем, и я много времени проводил в ее семье, которая меня, так сказать, усыновила. Иногда перед ужином я шел к ней в комнату и смотрел, как она переодевается. В трусиках и бюстгалтере, сидя перед зеркалом, она быстро набрасывала на себя что-нибудь из одежды и говорила: «Ах, Марлон, дорогой, ну что ты, право. Я же одеваюсь». «Потому-то я и здесь, — отвечал я, — надо проследить, чтобы ты хорошо оделась».

После окончания войны мне предложили первые сценические роли. Но уже в 1946 году я понял, насколько мне тошно восемь раз в неделю — шесть вечерних спектаклей и два утренних — играть все время в одной и той же пьесе.

Уже после моей четвертой работы — в пьесе Жана Кокто — я был сыт работой в театре по горло. И меня выгнали, так как прима заявила, что я не годюсь для роли.

Летом 1947-го мое внимание привлек один интересный замысел. Режиссер Элиа Казан решил поставить новую пьесу Теннесси Уильямса, которая называлась «Трамвай «Желание»». Однако у него возникли трудности с замещением главной мужской роли — Стэнли Ковальского. Известные актеры вроде Берта Ланкастера отказались, тогда было названо и мое имя.

Элиа Казан и продюсер Ирен Селзник, однако, посчитали, что я для роли слишком молод, да и в остальном были от меня не в восторге. Но они хотели оставить решение за Теннесси Уильямсом и послали меня в Кейп-Код, где драматург жил в загородном доме. Казан еще дал мне взаймы 20 долларов на железнодорожный билет.

(Окончание см. в след. номере).